

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Подобное душевное безразличие, вне всякого сомнения, отличает только закоренелых развратников.

Де Сад. Несчастливая судьба добродетели

1

Я родился в 1927 году — единственный сын небогатых англичан, которым до самой смерти не удавалось вырваться за пределы тени уродливой карлицы, королевы Виктории, причудливо простершейся в грядущее. Закончил школу, два года болтался в армии, поступил в Оксфорд; тут-то я и начал понимать, что совсем не тот, каким мне хотелось бы быть. Что генеалогия моя никуда не годится, я выяснил давным-давно. Отец — бригадный генерал, причем вовсе не благодаря выдающимся профессиональным качествам, а просто потому, что достиг нужного возраста в нужный момент; мать — типичная жена будущего генерал-майора. А именно: она никогда ему не перечила и вела себя так, будто муж следит за ней из соседней комнаты, даже если он находился за тысячи миль от дома. Во время войны отец наезжал редко, и мало-мальски привлекательный образ, выдуманный мной, пока он отсутствовал, всякий раз приходилось подвергать генеральному пересмотру (каламбур неуклюжий, но точный) в первые же дни его побывки.

Как любой человек не на своем месте, он жить не мог без банальщины и мелочной показухи; мозги ему заменяла кольчуга отвлеченных понятий: Дисциплина, Традиции, Ответственность... И когда я осмеливался возразить ему — что бывало очень редко, — он принимался утешить меня сими священными словами, как какого-нибудь зарвавшегося лейтенантика. А если жертва и тут не падала замертво, давал волю рыжему цепному псу — гневу.

По преданию, наши предки эмигрировали из Франции после отмены Нантского эдикта — благородные гугеноты, дальние родственники Оноре д'Юрфе, автора «Астреи» (бестселлера семнадцатого столетия). С тех пор никто в семье — исключая постоянного корреспондента Карла II Тома Дюрфея¹, родство с которым не менее сомнительно, — не проявлял склонности к творчеству: поколения военных, священников, моряков, помещиков сменяли друг друга, разнясь покровом одежда, сходясь в разорительном пристрастии к азартным играм. Двое из четверых сыновей моего деда не вернулись с Первой мировой; третий выбрал самый пошлый способ разделаться с наследственностью и сбежал в Америку от карточных долгов. Отец — младший отпрыск, обладающий всеми достоинствами, какие привыкли приписывать старшим, — всегда говорил о нем как о мертвом, но как знать, может, он еще жив, а у меня по ту сторону Атлантики имеются двоюродные братцы и сестрички.

В старших классах я понял, что жизнь, которая мне по душе, не вызовет в родителях ничего, кроме огульного неприятия, а изменить их взгляды, увы, невозможно. Я делал успехи в английском, публиковал в школьном журнале стихи под псевдонимом, считал Д. Г. Лоуренса самой выдающейся личностью нашей эпохи; родители же Лоуренса, конечно, не открывали, а если и слышали о нем, то лишь в связи с «Любовником леди Чаттерлей». Некоторые их черты — эмоциональную мягкость матери, отцовские приступы безоглядного веселья — еще можно было вынести; но нравилось мне в них совсем не то, чем они сами гордились. И когда Гитлеру пришел конец, а мне исполнилось восемнадцать, они уже стали для меня просто источником средств. Благодарность я им выказывал, но на большее меня не хватало.

Я вел двойную жизнь. В школе у меня была не слишком выгодная в военное время репутация эстета и циника. Но Традиции и Жертвенность гнали меня в строй. Я уверял всех — и директор школы вовремя поддержал меня, — что

¹ Томас Дюрфей (1653–1723) — модный литератор, состоял в переписке с множеством сильных мира сего.

университет может и подождать. В армии двойная жизнь продолжалась: на людях я играл тошнотворную роль сына бравого генерала Эрфе, а в одиночестве лихорадочно поглощал толстые антологии издательства «Пингвин» и тонкие поэтические сборники. Как только смог, демобилизовался.

В Оксфорд я поступил в 1943 году. На второй год учебы в колледже Магдалины, после летних каникул, во время которых я нанес родителям наикратчайший визит, отец получил назначение в Индию. Мать он забрал с собой. Самолет, на котором они летели, — груда железных дров, пропитанных бензином, — попал в грозу и разбился в сорока милях восточнее Карачи. Оправившись от удара, я почти сразу почувствовал облегчение, вздохнул наконец свободно. Ближайший родственник, брат матери, жил на своей ферме в Родезии, и никакие семейные узы теперь не мешали развитию того, что я считал своим истинным «я». Может, сыновняя почтительность и была моим слабым местом, зато в новых веяниях я разбирался как никто.

Или думал, что разбирался, — вместе с другими умниками, моими приятелями по колледжу. Мы организовали небольшой клуб под названием *Les Hommes Revoltes*¹, пили очень сухой херес и (в пику шерстяным лохмотьям конца сороковых) нацепляли темно-серые костюмы и черные галстуки. Собираясь, толковали про бытие и ничто², а свой изощренно-бессмысленный образ жизни называли экзистенциалистским. Невеждам он показался бы вычурным или жлобским; до нас не доходило, что герои (или антигерои) французских экзистенциалистских романов действуют в литературе, а не в реальности. Мы пытались подражать им, принимая метафорическое описание сложных мировоззренческих систем за самоучитель правильного поведения. Наизусть зазубривали, как себя вести. Большинству из нас, в духе вечного оксфорд-

¹ «Бунтующие люди» (*фр.*). Аллюзия на эссе Альбера Камю «Человек бунтующий».

² «Бытие и ничто» (1943) — библия французского экзистенциализма, философский трактат Ж. П. Сартра.

ского дендизма, просто хотелось выглядеть оригинальными. И клуб давал нам такую возможность.

Я приобрел привычку к роскоши и жеманные манеры. Оценки у меня были средненькие, а амбиции чрезмерные: я возомнил себя поэтом. На деле ничто так не враждебно поэзии, как безразлично-слепая скука, с которой я тогда смотрел на мир в целом и на собственную жизнь в частности. Я был слишком молод, чтобы понять: за цинизмом всегда скрывается неспособность к усилию — одним словом, импотенция; быть выше борьбы может лишь тот, кто по-настоящему боролся. Правда, воспринял я и малую толику сократической честности, полезной во все времена, — именно она стала важнейшим вкладом Оксфорда в нашу культуру. Благодаря ей я с грехом пополам усвоил, что бунт против прошлого — это еще не все. Как-то я наговорил друзьям множество гадостей об армии, а вернувшись к себе, вдруг подумал: то, что я с легкостью высказываю вещи, от которых моего покойного отца хватила бы кондрашка, вовсе не означает, что я избавился от его влияния. Циником-то я был не по природе, а по статусу бунтаря. Я отверг то, что ненавидел, но не нашел предмета любви и потому делал вид, что ничто в мире любви не заслуживает.

Всесторонне подготовленный к провалу, я вступил в большую жизнь. В отцовской кольчуге абстракций не было звена под названием Бережливость; его счет у Лэдброка¹ достигал комически больших размеров, а траты были грандиозны, ибо, ища популярности, он восполнял недостаток обаяния избытком спиртного. Того, что осталось после нашествия законников и налоговых инспекторов, на жизнь явно не хватало. Куда бы я ни пытался устроиться — в дипкорпус, на гражданскую службу, в министерство колоний, в банки, в торговлю, в рекламу, — любая работа казалась слишком пресной и элементарной. Я прошел несколько собеседований. И коль скоро не собирался про-

¹ Крупная тотализаторная фирма в Лондоне.

являть того щенячьего энтузиазма, которого у нас требуют от начинающего чиновника, никуда не был принят.

В конце концов, как и до меня — многие выпускники Оксфорда, я написал по объявлению в «Таймс эдьюкейшнл сапалмент»¹ и поехал в маленькую школу на востоке Англии; там меня допросили с пристрастием и предложили место. Позже выяснилось, что кроме меня на него имелось только два претендента, оба из Редбрика²; семестр начинался через три недели.

Инкубаторские детки, мои ученики, были из рук вон плохи; тесный городок — кошмарен; но что воистину невозможно было вынести — так это учительскую. На урок я шел чуть ли не с облегчением. Скука, мертвящая предпрешенность годового жизненного цикла тучей нависала над нами. То была скука настоящая, а не хандра, какую я напускал на себя, следуя моде. Она порождала лицемерие, ханжество, порождала бессильный гнев стариков, знающих, что потерпели крах, и молодых, ожидающих такого же краха. Старшие учителя напоминали обреченных казни; при виде многих из них кружилась голова, словно ты заглядывал в бездонную дыру тщеты человеческой... по крайней мере, так было со мной к концу первого года работы.

Нет, подобная Сахара — не для моих прогулок; чем острее я ощущал это, тем яснее становилось: оцепенело-напыщенная школа — лишь игрушечный макет целой страны; бежать надо от обеих. Вдобавок там ошивалась девушка, которая мне надоела.

По окончании семестра я убедился, что мои размышления встречены сочувственно. Я не раз намекал на свою непоседливость, из чего директор живо заключил, что я собираюсь то ли в Америку, то ли в доминионы.

— Я еще не решил, господин директор.

¹ Приложение к газете «Таймс» по проблемам образования.

² Р е д б р и к (red brick, красный кирпич) — ироническое название провинциальных университетов, готовящих дипломированные кадры для местных нужд.

— А ведь мы могли бы сделать из вас прекрасного учителя, Эрфе. Да и вы, знаете ли, принесли к нам новые веяния. Ну что теперь об этом говорить.

— Боюсь, вы правы.

— Не вижу ничего хорошего во всех этих заграницах. Мой вам совет: оставайтесь. А впрочем... *vous l'avez voulu, Georges Danton. Vous l'avez voulu*¹.

Ошибка красноречивая.

В день моего отъезда лил дождь. Но я был полон радостного нетерпения — такое чувство, словно у тебя отрастают крылья. Я не знал, куда отправлюсь, но знал, что буду искать. Чужую землю, чужих людей, чужой язык; и хотя тогда я не мог облечь это в слова — чужую тайну.

2

В начале августа, вспомнив, что работу за границей можно найти через Британский совет, я отправился на Дэвис-стрит. Приняла меня деловая леди, ушибленная проблемами культуры, — ее лексика и манера говорить обличали выпускницу Роудина². Конечно, важно, доверительно сообщила она, чтобы за рубежом «нас» представляли самые достойные, но давать объявление о каждой вакансии, беседовать с претендентами — такая волянка; да и линия сейчас, если честно, на сокращение экспорта кадров. После всех этих предисловий я узнал, что рассчитывать приходится лишь на место школьного учителя английского языка — это вас не очень пугает?

— Очень, — ответил я.

В конце августа, почти не ожидая результата, я дал объявление, каких навалом в любой газете: лаконично сообщил, что готов заниматься чем и где угодно, и получил несколько откликов. Кроме брошюрок с напоминаниями, что судь-

¹ «Вы этого хотели, Жорж Дантон. Вы этого хотели» (*фр.*). Директор неверно цитирует крылатую фразу из пьесы Мольера «Жорж Данден».

² Р о у д и н - с к у л — привилегированная женская школа близ Брайтона.

ба моя в руке Божьей, пришло три трогательных послания от прохиндеев, жаждущих поправить дела за мой счет. И еще одно, предлагавшее нестандартную и высокооплачиваемую работу в Танжере (владею ли я итальянским?)¹, но мое письмо туда осталось без ответа. Надвигался сентябрь; я начал терять надежду. Скоро, припертый к стенке, совсем отчаюсь и снова примусь перелистывать тлетворные страницы «Эдьюкейшнл сапмент» — бесконечный блеклый список бесконечных блеклых занятий. И однажды утром я вернулся на Дэвис-стрит.

Нет ли у них чего-нибудь в Средиземноморье? Моя знакомая с угрожающей готовностью ринулась за картотечным ящиком. Сидя в приемной под кирпично-помидорным Мэтью Смитом², я видел себя в Мадриде, в Риме, или в Марселе, или в Барселоне... даже в Лиссабоне. За границей все иначе: там не будет учительской, и я вплотную примусь за стихи. Вернулась. Безумно жаль, но хорошие места уже заняты. Вот все, что осталось. Она показала мне запрос из Милана. Я покачал головой. Она взглянула сочувственно.

— Ну, тогда самое последнее. Мы его только что напечатали. — Протянула вырезку.

ШКОЛА ЛОРДА БАЙРОНА, ФРАКСОС

Школе лорда Байрона (Фраксос, Греция) с октября месяца требуется младший преподаватель английского языка. Семейных и не имеющих высшего образования просят не беспокоиться. Знание новогреческого не обязательно. Жалованье 600 фунтов в год в любом эквиваленте. Контракт заключается на два года с последующим возобновлением. Плата за питание взимается в начале и в конце контрактного срока.

Прилагаемый проспект конкретизировал объявление. Фраксос — остров в Эгейском море, милях в восьмидесяти от Афин.

¹ Танжер считается Меккой гомосексуалистов.

² М Э Т Ь Ю С М И Т (1870–1959) — художник, близкий к модернизму.

Школа лорда Байрона — «один из известнейших пансионов Греции, который ориентируется на традиции английского среднего образования» — отсюда название. Ученикам и преподавателям, похоже, предоставляются все мыслимые удобства. Учитель дает не более пяти уроков в день.

— У этой школы великолепная репутация. А сам остров — просто рай земной.

— Вы что, там бывали?

Ей было лет тридцать. Прирожденная старая дева, до того непривлекательная, что в своих модных тряпках и обильном макияже выглядит просто жалкой, будто незадачливая гейша. Нет, она не бывала, но все так говорят. Я перечитал объявление.

— Что ж так поздно спохватились?

— Ну, если мы правильно поняли, они уже приглашали кого-то. Не через нас. В итоге — скандал за скандалом. — Я снова заглянул в проспект. — Вообще-то мы раньше с ними не работали. Так что сейчас просто оказываем им любезность.

Она искательно улыбнулась; передние зубы явно крупноваты. В самых утонченных оксфордских традициях я пригласил ее позавтракать.

Дома я заполнил бланк, который она принесла в кафе, сразу же вышел и опустил его в почтовый ящик. По необъяснимой причуде судьбы в тот же вечер я познакомился с Алисон.

3

Эпоха вседозволенности еще не наступила, и по тем временам я в свои годы имел, по-моему, солидный любовный опыт. Девушкам — пусть и известного пошиба — я нравился; у меня была машина — чем тогда мог похвастаться редкий старшекурсник — и кой-какие деньжата. Я не был уродом; и, что еще важнее, был сиротой — а любой ходок знает, как безотказно это действует на женщин. Мой «метод» заключался в том, чтобы произвести впечатление человека со странностями, циничного и бесчувственного. А потом, словно фокусник — кролика, я предъявлял им свое бесприютное сердце.

Я не коллекционировал победы, но к концу учебы от невинности меня отделяла по меньшей мере дюжина девушек. Я не мог нарадоваться на свои мужские достоинства и на то, что влюбленности мои никогда не затягивались. Так виртуозы гольфа в душе относятся к игре чуть-чуть свысока. Играешь сегодня или нет — все равно ты вне конкуренции. Большинство романов я затевал на каникулах, подальше от Оксфорда, ибо в этом случае начало нового семестра позволяло под удобным предлогом сбежать с места преступления. Иногда следовала неделя-другая назойливых писем, но тут я запикивал бесприютное сердце обратно, вспоминал об «ответственности перед собой и окружающими» и вел себя как настоящий лорд Честерфилд. Обрывать связи я научился столь же мастерски, как и завязывать их.

Все это может показаться — да и вправду было — холодным расчетом, но двигало мной не столько бессердечие как таковое, сколько самолюбивая уверенность в преимуществах подобного образа жизни. Облегчение, с каким я бросал очередную девушку, так легко было принять за жажду независимости. Пожалуй, в мою пользу говорит лишь то, что я почти не врал: прежде чем новая жертва разденется, считал своим долгом выяснить, сознает ли она разницу между постелью и алтарем.

Но позже, в Восточной Англии, все перепуталось. Я начал ухаживать за дочерью одного из старших учителей. Она была красива английской породистой красотой; как и я, ненавидела захолустье и охотно отвечала мне взаимностью; я с опозданием понял, что взаимность небескорытна: меня собирались женить. Я запаниковал: элементарная телесная потребность грозила сломать мне жизнь. Я даже едва не капитулировал перед Дженет, круглейшей душой, которую не любил и не мог полюбить. С оскормленной вспоминаю бесконечную июльскую ночь нашего прощания: попреки и завывания в машине на морском берегу. К счастью, я знал — и она знала, что я знаю, — что она не беременна. В Лондон я ехал с твердым намерением отдохнуть от женщин.

Большую часть августа в квартире этажом ниже той, которую я снимал на Рассел-сквер, никто не жил, но как-то в воскресенье до меня донеслись шаги, хлопанье дверей, потом музыка. В понедельник я встретил на лестнице двух девушек, не пробудивших во мне энтузиазма, и, спускаясь, отметил, что в разговоре они произносят открытое «е» как закрытое — на австралийский манер. И вот наступил вечер того дня, когда я завтракал с мисс Спенсер-Хейг, — вечер пятницы.

Часов в шесть в дверь постучали. Это была та из виденных мной девушек, что покоренастее.

— Ой, привет. Меня зовут Маргарет. Я внизу живу. — Я пожал ее протянутую руку. — Очень приятно. Слушай, у нас тут выпивон намечается. Не присоединишься?

— Понимаешь, я бы с радостью, но...

— Все равно не уснешь — шуму будет!

Обычное дело: лучше уж пригласить, чем потом извиняться за неудобство. Помедлив, я пожал плечами.

— Спасибо. Приду.

— Отлично. В восемь, ладно? — Она пошла вниз, но обернулась. — С девушкой придешь или как?

— Я сейчас один.

— Ничего, мы тебе что-нибудь подыщем. Пока.

И ушла. Лучше бы я не соглашался.

Услышав, что народ собирается, я выждал немного и спустился, надеясь, что все уродины — а они всегда приходят первыми — уже распределены. Дверь была нараспашку. Я пересек маленькую прихожую и встал в дверях комнаты, держа наготове подарок — алжирское красное. Я пытался отыскать среди гостей девушек, встреченных на лестнице. Громкие голоса с австралийским акцентом; шотландец в юбке, несколько уроженцев Карибского бассейна. Компания явно не в моем вкусе, и я уже собирался потихоньку смыться, как вдруг кто-то вошел и остановился позади меня.

Девушка примерно моего возраста, с рюкзаком за плечами и с тяжелым чемоданом. На ней был светлый плащ, мятый и потершийся. Лицо загорело до черноты; чтобы добиться такого загара, нужно неделями жариться на солнце. Длинные волосы выгорели почти добела. Смотрелись они непривычно, ведь в моде была короткая стрижка, девушки всю ка-

нали под мальчиков; а вокруг этой витал аромат Германии, Дании — бродяжий дух с налетом извращения, греха. Отступила в глубину прихожей, подзывая меня. Давно я не видел такой натянутой, лживой, вымученной улыбки.

— Пожалуйста, отыщите Мегги и позовите ее сюда.

— Маргарет?

Она кивнула. Я продрался сквозь толпу и поймал Маргарет на кухне.

— А, явился. Привет.

— Тебя там зовут. Девушка с чемоданом.

— Здравсьте пожалуйста! — Переглянулась с какой-то женщиной. Запахло скандалом. Она поколебалась и поставила большую бутылку пива, которую собралась открывать, на стол. Ее мощные плечи расчистили нам путь назад. — Алисон! Ты же обещала через неделю.

— У меня деньги кончились. — Бродяжка посмотрела на старшую девушку бегающим, настороженно-виноватым взглядом. — Пит вернулся?

— Нет. — И, предостерегающе понизив голос: — Но здесь Чарли и Билл.

— Ах, черт. — Оскорбленное достоинство. — Умру, если не приму ванну.

— Чарли ее всю забил пивом, чтоб охладилось.

Загорелая поникла. Тут вмешался я:

— У меня есть ванна. Наверху.

— Да? Алисон, познакомься, это...

— Николас.

— Вы правда позволите? Я только что из Парижа. — С Маргарет она говорила почти как австралийка, со мной — почти как англичанка.

— Конечно. Я покажу, где это.

— Сейчас, только возьму что-нибудь переодеться.

В комнате ее встретили приветственными возгласами:

— Ого, Элли! Какими судьбами, подружка?

Рядом с ней оказались два или три австралийца, каждого она чмокнула. Маргарет — толстухи всегда покровительствуют худышкам — живо их растолкала. Алисон вынесла смену одежды, и мы отправились наверх.

— Господи боже, — сказала она. — Эти австралийцы.